Валерий Бочков

Ниже нуля по Фаренгейту

Часть сборника

Как я изменил свою жизнь к лучшему

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Гражданин мира – родился в Латвии в разные периоды жизни жил и работал в Москве и Амстердаме, в США и Германии. Валерий в первую очередь известный художник – после окончания художественно-графического факультета работал иллюстратором крупных журналов и издательств. Но, по словам художника, когда он вполне высказался языком живописи, он начал писать жизнь художественным словом. Олимп большой литературы Валерий покорил за 10 лет – начав писать в 2004-м и получив «Русскую премию» в номинации Крупная проза в 2014-м. Счастье, по мнению Валерия, остро ощущается в мгновения постижения законов жизни и вопиющей красоты природы.

- Валерий Бочков
  -

Валерий Бочков
Ниже нуля по Фаренгейту

* * *

Ноль по Фаренгейту – что-то около восемнадцати градусов мороза по Цельсию. Семнадцать целых восемь десятых, если быть точным. Шкала Фаренгейта лишена изящной логики Цельсия, где ноль – точка замерзания, сто – точка кипения, а все остальное лежит между ними, и вы почти интуитивно соотносите цифру на градуснике с необходимостью надевать валенки или панаму. Я заметил, что сами американцы, пользующиеся неуклюжим Фаренгейтом с упрямством подростка, ориентируются лишь в диапазоне комнатных температур: все, что выше, попадает в разряд «страшной жары», а то, что ниже, определяется как «дикий холод».

1

Ланкастер мне не нравился.

И чем дальше, тем больше. Верней – меньше.

Он был выше меня, поплечистей и в свои семьдесят лет выглядел крепким мужиком. Он напоминал киношного героя из черно-белого вестерна, какого-нибудь Гарри Купера или Грегори Пека – эти мутные ленты еще зачем-то показывают на бесплатных каналах для пенсионеров. Я злорадно подумал, что зубы у него наверняка фарфоровые, как будто это имело хоть какое-то значение – Рита пялилась на него, как школьница.

– У индейцев чероки обряд посвящения мальчика в мужчины… – Ланкастер сделал паузу и поглядел Рите в глаза.

Рита смутилась.

– Вовсе не то, о чем вы подумали…

Он усмехнулся и продолжил:

– Обряд назывался «Отшлепать косолапого» и заключался в том, что юноша должен был выследить взрослого медведя, подкрасться к нему и хлопнуть по заду. И убежать. Если получится. Медведи на самом деле не так уж неуклюжи и запросто могут догнать человека.

– Долго еще? – спросил я вежливо.

– Почти приехали, – не поворачиваясь, ответил Ланкастер.

Он притормозил, перешел на вторую, джип плавно нырнул и мы съехали на проселок.

Все вокруг было белым – накатанная до ледяной глади дорога, огромные сугробы по обочинам, лес, сахарные горы на горизонте – все было белым.

Все, кроме неба.

Небо было ярко-голубым – и от этой звонкой сини снег казался еще белей, еще ослепительней.

– Так что там про косолапого? – Рита снова уставилась на Ланкастера. – Про индейцев?

– Это не про индейцев, – он засмеялся. – Это про меня.

Ну, еще бы, молча ухмыльнулся я, а про кого же еще!

И подумал, что зря не взял солнечные очки.

Ритина подруга (ее имя вылетело из моей головы сразу же после знакомства) по-приятельски ткнула меня локтем и показала в окно.

Я поглядел. Там был такой же лес, как и с моей стороны.

Она что-то сказала, я не расслышал, но, кивнув, согласился. Подруга тоже закивала.

Она была загорелая, как мулатка, – этот загар на грани копчености казался мне вульгарным и особенно неуместным на зимнем фоне. Шумная, бесцеремонная, как ворона, она постоянно дотрагивалась до меня – говоря что-то, тыкала своим тощим пальцем в рукав моей куртки или дотрагивалась до колена.

Похоже, я ей нравился, и она строила на мой счет какие-то планы.

– Кстати, вы знаете, – Ланкастер обратился к Рите. – Интересный факт относительно медведей…

– Что они косолапые? И любят мед? – не сдержался я.

Он засмеялся, мельком взглянул на меня в зеркало.

– Да, Игорь. Именно мед и именно косолапость.

Меня удивило, что он запомнил мое имя, хоть и произносил его без мягкого знака на конце, к чему, впрочем, за четырнадцать лет я уже успел привыкнуть. В Америке это имя ассоциируется не со Стравинским или героем оперы Бородина, а с персонажем из кинопародии на «Франкенштейна» – там Игорем звали пучеглазого горбуна-недоумка, который вместо нормального мозга притащил доктору из морга мозг убийцы-маньяка. Со всеми вытекающими последствиями…

– Медведь – самый священный зверь. Он является тотемом по всему земному шару. На всех континентах.

– Ланк, – мулатка капризно ткнула его в спину малиновым ногтем. – Что такое тотем? Я знаю, конечно, в принципе. Типа

талисман, и все такое… Просто хотелось от вас услышать, профессионально…

– Ну, по профессии я не этнограф и не антрополог, – Ланкастер засмеялся. – Я ветеринар. На пенсии. А насчет тотема вы, Моника, правы.

«Моника», – подумал я.

И имя-то у нее дурацкое. Как крыльцо о трех ступеньках:

мо-
ни-
ка.

Мулатка, победно ухмыляясь, опять ткнула меня в колено. На передних зубах у нее краснела полоска помады.

– Дело в том, что одним из признаков тотема является запрет на произнесение его имени, – Ланкастер затормозил перед внушительной колдобиной и на первой передаче осторожно преодолел препятствие.

Дорога сузилась в одну полосу и пошла в гору.

Мне подумалось: интересно будет, если нам кто-нибудь поедет навстречу…

Лес расступился, мы оказались неожиданно высоко, внизу белела идеально плоская равнина – то ли поле, то ли застывшее озеро. Дальше шли холмы, покатые и какие-то ватные на вид. За ними белыми великанами выступали горы.

– Наши предки считали, что, произнося имя или название опасного явления, предмета или болезни, они могут материализовать его, вызвать к жизни. Так, вместо слова «мертвец» – говорили «усопший», вместо «дьявол» – «лукавый» или «нечистый». Изначальное название медведя было полностью вытеснено. Причем во всех языках.

– Жутко любопытно! – воскликнула мулатка. – Только непонятно. Как же было вытеснено, если вот оно, слово: медведь.

– Это эвфемизм, – сказал я непонятливой Монике. – Слово-заменитель.

– А-а, – протянула мулатка неуверенно.

– А вы чем занимаетесь? – поинтересовался Ланкастер у меня.

– Профессор литературы, – ответил я. – Преподаю в Миделберри.

Рита повернула удивленное лицо.

– Русская литература, девятнадцатый, двадцатый век, – скромно продолжил я. – Занимаюсь переводами, сделал новый перевод «Приглашения на казнь». Владимир Набоков, знаете?

– А! Это про педофилов! – вспомнила Моника. – Да?

– Нет, – терпеливо возразил я. – Это про другое.

– А сами не пишете? – спросила Рита.

Голос у нее был мягкий, спокойный, а губы чуть пухлые, почти детские.

– Нет, – быстро соврал я. – Времени нет, да и вообще… А эвфемизмами увлекся, когда переводил Шаламова. Там в рассказах употребляется много тюремной лексики, которая в переводе совершенно теряет смысл, если ее переводить как… – я запнулся. – Впрочем, это совсем не важно.

– А медведь? – Рита улыбнулась.

Она улыбнулась мне первый раз со вчерашнего дня.

– С медведем все просто, – я воодушевился. – Медведя мы потеряли. Верней, утратили то, табуированное слово. По-английски «bear» означает «бурый», по-русски «медведь» – это «поедающий мед», даже латинское «урсус» – тоже эвфемизм, пришедший из древнеиндоевропейского языка…

– Поэтому его и называют «косолапым» и «топтыгиным»? Тоже эвфемизмы?

Рита почесала кончик носа. Очень милый жест.

– У ирокезов медведя зовут «хозяин», – встрял Ланкастер. – А у индейцев чероки…

– Кстати, забавная трансформация произошла в польском, – перебил его я. – В польском языке эвфемизм «медведь» сам стал табу и превратился путем перестановки слогов в «ведмидя».

– Да, кстати! А тут медведи есть? – спросила Моника, кивнув в окно. – Водятся вообще?

– Конечно! – отчего-то радостно воскликнул Ланкастер. – Я ж с этого и начал!

– Ну так рассказывайте! – потребовала Моника. – Рассказывайте!

2

– Прошлым маем, где-то в самом конце месяца, – не спеша начал Ланкастер. – Яблони почти отцвели. Помню, ночью была буря, а с утра вся река стала бледно-розовой от опавшего яблоневого цвета. Как цветущее поле…

Он отпустил руль и плоской ладонью сделал плавный жест.

– Там, у старого железнодорожного моста, течения почти нет и берег пологий. Там я и спустился. У меня двухместное каноэ, настоящее, берестяное, я его выменял в резервации оджибва на морской бинокль и коробку бурбона. Лет десять назад… Каноэ

легкое, маневренное. Я думал от моста до Немецкой мельницы сплавать. Где-то миль шесть в оба конца.

Лес снова подступил к самой дороге. Стало темно.

Наш джип цеплял тяжелые лапы елей, снег с глухим шорохом осыпался на крышу и заднее стекло.

– Я вывел каноэ на середину реки, перестал грести. Лодку едва тянуло ленивым течением. Еле-еле… Я плыл среди белых яблоневых цветов. Как во сне. Казалось, что и река, и лодка стоят на месте, а прибрежный лес, отмели, камыши кто-то медленно тащит на север… Небо тоже было неподвижным и можно было подумать, что я со своей лодкой нахожусь в центре земной оси и планета неспешно вращается вокруг меня.

Ланкастер засмеялся.

– У вас отличный слог, – сделал я ему комплимент. – Для ветеринара. Вы писать не пробовали?

– Да времени как-то не было. Может, потом, на старости лет. Поэкспериментирую…

Я подумал, что мне сорок восемь и я уже почти поставил на себе крест – амбиций подобного рода у меня уж точно не осталось.

Дай Бог не растерять, что накопил, не позабыть, чему научился.

– Меня удивило, что вокруг не было ни души, – продолжил Ланкастер. – За мостом Слепая балка, там берег крутой, омуты. Сом крупный берет. А тут – ни одной лодки, ни одного рыбака. Я вырулил на середину, начал грести. Вдруг боковым зрением вижу – темная тень на том берегу. Шмыгнула меж стволов, скатилась в реку. Беззвучно, как бобер.

– Ой! – по-девчачьи пискнула Моника. – Медведь?

– Он самый. – Ланкастер сделал паузу. – Гризли. От меня до него было футов сорок-пятьдесят. Я так понял, косолапый намеревался переправиться на западный берег. Он плыл по диагонали, я начал подгребать к нему. На середине я его нагнал, он обернулся и поглядел на меня, впрочем, без особого интереса. И тут до меня дошло: это ж мой шанс отшлепать косолапого! Я уже не юноша, но ведь лучше поздно, чем никогда!

– Ведь так, профессор? – почему-то обратился он ко мне за подтверждением.

Я пожал плечами.

– Мы плывем, плывем рядом. Мне слышно, как он пыхтит. Из спины торчат нос, уши и круп. Круп! Именно то, что мне нужно! Я подгреб вплотную, перегнулся… – он драматично замедлил речь, поднял большую ладонь. – Шлеп!

– Ой! А он? – пискнула Моника.

– Удивился! И решил, что я его приглашаю в лодку. Составить мне компанию. Медведи – те же собаки. Они, собственно, и относятся к подотряду псообразных. Мне вообще кажется, что неандертальцы приручили собак, а не медведей исключительно из соображений экономии. Прокормить проще.

– И кошек вместо тигров, – добавила Рита с иронией.

– А дальше? Дальше что? – заегозила нетерпеливая Моника.

– Мой косолапый поступил так, как поступила бы любая собака – начал карабкаться в лодку. У псообразных, в отличие от кошачьих, когти не убираются. У моего парня когти были – во! – Ланкастер выставил указательный палец, для пущего эффекта согнув его крючком. – Он лезет, лодка на бок. Я на другой конец лодки – для равновесия. И оттуда его веслом охаживаю. Он, дурачина, решил, что я с ним играю – весло поймал и перекусил как щепку. И на меня полез. Ну, я сказал все, что про него думаю, и сиганул за борт!

Ланкастер затормозил, осторожно, чтоб не застрять в снегу, съехал на обочину.

Заглушил мотор.

– Ну, короче, доплыл до берега. Там круто было, вывозился весь в глине, пока выбирался. – Он засмеялся. – Поднялся. Гляжу, мой топтыгин, устроился, как барин, в лодке, даже лапы на брюхе сложил. И на меня через плечо взглянул. Небрежно посмотрел и отвернулся. Так и уплыл по течению.

– Каноэ не жалко? – спросил я.

– Жалко. Отличная лодка была.

Ланкастер вынул ключ из замка зажигания, кинул в бардачок. Захлопнул крышку.

3

Снаружи оказалось морозно и сухо.

Метрах в ста на обочине я увидел знак – ромб с черным силуэтом лося. На знаке белела снежная папаха набекрень.

Рита задрала голову, выдохнула вверх струю густого пара. Моника натянула капюшон с лисьей оторочкой и стала напоминать смуглого зверька. Ланкастер распахнул багажник, выкинул на дорогу четыре пары плетеных снегоступов, похожих на самодельные ракетки для большого тенниса. Снегоступы шлепнулись на дорогу со стеклянным звоном.

– Разбирайте! – сказал он, весело оглядывая высокие деревья.

Я снял перчатки, начал пристегивать ремешки коченеющими пальцами. Кое-как справился с правой ногой, левая

подворачивалась и никак не хотела влезать в промерзшую сбрую.

– Помочь? – предложил мимоходом Ланкастер.

Рита и Моника справились быстрее меня. Я, чувствуя себя полным дураком и матерясь вполголоса, наконец затянул ремень на левой ноге, поднялся.

– План такой! – Ланкастер бодро хлопнул в ладоши.

Он был без перчаток и шапки, в кургузой кожанке поверх фланелевой рубахи, расстегнутой до третьей пуговицы.

– Идем на восток. Огибаем Ведьмину падь. Это мили полторы. Выходим к реке у Бобрового затона. Идем вдоль реки, полмили где-то, там прошлой зимой я приметил берлогу.

– Ну, не-еее! – Моника замахала малиновыми варежками. – Только не в берлогу!

– От реки движемся вверх на север, – Ланкастер не обратил внимания на кокетливый писк Моники. – Потом выходим через сосновый бор, делаем крюк и возвращаемся сюда. К машине. На все про все – часа три.

Гуськом – Ланкастер, Рита, Моника и я в хвосте – мы вошли в безмолвный лес. Равнодушно и размеренно захрустел наст. Клены и дубы казались мертвыми – кора в инее, стеклянные ветви – сама мысль, что через четыре месяца на этих ветках проклюнутся – ярко-зеленые, сочные липкие листья, казалась нелепой.

Все вокруг было мертво, скучно, бесцветно.

Настроение портилось. Я с неприязнью разглядывал спину Моники – она, косолапя, старалась ступать след в след, беспечно отпуская хлесткие ветки, от которых я уворачивался с медленно закипающим раздражением. Меня совершенно не интересовал этот мертвый лес, мне было все равно, чем отличается канадский клен от клена красного, мне было плевать, какой именно зверь оставил следы на снегу, куда и зачем этот зверь направлялся.

Я потащился с ними из-за Риты.

Которая, впрочем, не обращала на меня никакого внимания.

Зацепившись за сук, я сбился с шага, снегоступ застрял и расстегнулся. Стараясь удержать равновесие, я шагнул в сторону и провалился по пояс. Штанина задралась, колючий снег полез внутрь сапога. Цепляясь за ствол, я попытался подняться, ветка сломалась, и я завалился на спину.

Кораллово-красный капюшон Моники, похожий на дурацкий колпак, покачиваясь, уплывал все дальше и дальше.

4

Три с половиной года назад, в конце мая, я ушел от своей

жены.

Мы прожили вместе двенадцать лет без двух недель, прожили вполне сносно, порой почти счастливо. Вспоминаются тихие вечера с янтарным светом старых абажуров, пресные ужины в скучных ресторанах со степенными коллегами, вернисажи каких-то занудных художников…

Я ушел к своей бывшей студентке, которая была вдвое моложе меня.

За день до этого я сидел в приемной у дантиста и листал цветной журнал. Печатной продукцией этого пошиба был завален низкий столик у окна: там было несколько замызганных номеров «Мы» – про жизнь известных людей, с порнографией для автоманов – с развратными снимками шикарных лимузинов и порочных гоночных машин, пестрая дребедень про тряпки и про правильное сочетание цветов в интерьере.

Я листал издание, относящееся к классу «мужских журналов». Пуританская эротика, похожая на рекламу неважного женского белья, мастер-класс по смешиванию коктейлей с текилой, нудное интервью с неизвестным мне телеперсонажем, ботинки, часы, что-то про одеколоны.

Меня привлек ярко-красный заголовок «Твоя жизнь: что еще надо успеть».

Подход был утилитарный – статья состояла из тридцати шести пунктов и предварялась подзаголовком, похожим на предупреждение на сигаретной пачке:

«Тридцать шесть фантастических идей, неожиданных возможностей, опасных приключений и откровенно дурных советов, которые ты можешь воплотить в жизнь, перед тем как сыграешь в ящик. Редакция не несет никакой ответственности за последствия твоих действий».

Содержание оказалось пошлым.

Некоторые советы были просто глупыми. Под номером четыре мне советовали оставить в ресторане чаевые, размер которых мог бы испортить мне настроение. Советовали пострелять из «глока». Еще была идея – выбрать двух друзей и отправиться с ними путешествовать в дикое место. Степень дикости места в статье не определялась.

Пятнадцатый номер предлагал добровольно остановиться и помочь поменять колесо незнакомцу. В скобках было добавлено – мужского пола.

Семнадцать – разожги костер в лесу и переночуй рядом.

Двадцать два – возьми гитару, иди в метро и «напой» себе на ужин.

Мне понравился тридцатый пункт: «Выйди в океан и иди под

парусом без остановки три дня и три ночи в любом направлении». Понравился концептуально, как идея, поскольку яхты у меня не было и не предвиделось.

Пункт тридцать пятый озадачил: «Попробуй любить кого-нибудь, кроме себя».

Я задумался, перевернул страницу.

Прочитал последний пункт, тридцать шестой.

В коридор выглянула медсестра и пригласила меня к доктору. Мне показалось, что приемная, весь этаж, все здание чуть качнулось, словно раздумывая: ухнуть ему вниз или нет.

Я перечитал тридцать шестой пункт еще раз и отложил журнал.

Не дыша, поднялся. Тихо ступая, словно боясь оступиться, вышел в холл и вызвал лифт.

Пункт тридцать шестой гласил: «Начни жить, сукин сын. Начни сегодня».

Я никогда не употреблял наркотики, трава, разумеется, не в счет. Следующие три месяца моей жизни слились в восхитительный полет – оказывается, если падать с большой высоты, то можно убедить себя, что ты летишь. Это работает вплоть до момента соприкосновения с землей. Впрочем, об этом нюансе я не думал.

Я вообще тогда не очень думал, эмоции и инстинкты отлично заменили нудный мыслительный процесс, мой потасканный организм неплохо функционировал на смеси адреналина с тестостероном. Я сбросил восемь фунтов, стал поджарым и смуглым, сбрил профессорскую бородку, а после сгоряча побрил и голову. Когда череп загорел, я стал напоминать отставного велогонщика, уволенного за применение допинга.

Те три месяца, три восхитительных, безумных месяца, сто лучших дней моей жизни, я постарался забыть, вычеркнуть. Чтобы мысленно вернуться туда, нужно пройти через такую толщу боли, такую толщу вины, что легче удавиться. Жизнь безусловно устроена на принципе равновесия: затертое «за все надо платить» обретает выпуклость и блеск, когда неожиданно оборачивается своим шершавым боком лично к тебе.

Мы охотились на акул у острова Мауи, ныряли с аквалангом и рыскали по затонувшему испанскому галиону возле Тортуги, прыгали с парашютом где-то в дельте Амазонки, продирались сквозь джунгли Коста-Рики, где самым ядовитым зверем оказалась мелкая изумрудная лягушка: ее кожа выделяет яд такой силы, что достаточно дотронуться – и летальный исход гарантирован через пятнадцать минут.

Противоядия нет.

Вспоминается безумное путешествие по Тунису на дрянном джипе, особенно ночь, когда мы остались без бензина на заброшенном шоссе на полпути к Сахаре…

Двадцать первого августа мне позвонили из госпиталя и сообщили, что моя жена попала в аварию. В ее страховке я по-прежнему значился как ближайший родственник. Двое суток она пролежала в коме, а после тихо умерла.

Начались мрачные хлопоты, я вернулся в свой бывший и очень пустой дом. На похороны потянулась родня, знакомые. Я бесшумно бродил по пыльным комнатам, трогал ее вещи, осиротевшие и хмурые; казалось, что даже мебель поглядывает на меня с презрением.

Меня добило, что никто не знал, что я от нее ушел.

Она никому, никому не сказала, что я ее бросил.

5

Они звали меня дуэтом – Ланкастер баритоном, Моника сопрано. Голоса Риты я не расслышал.

Барахтаясь в сугробе, я отозвался. Крикнул, что иду.

Человек на удивление беспомощен в глубоком снегу: я кое-как дотянулся до осины, выпрямился, пристегнул чертов снегоступ. Снег, набившийся в сапог, начал таять.

– Куда же вы… – игриво протянула Моника, – запропастились, а?

Ланкастер мельком, как учитель на двоечника, взглянул на меня. Рита, присев на корточки, пыталась сфотографировать телефоном что-то на снегу.

Какие-то следы.

– А что, тут сигнала нет? – Рита, выпрямилась, вытянула руку с телефоном вверх.

– Тут вообще ничего нет, – засмеялся Ланкастер. – Вон там – канадская граница, за той сопкой, где две сосны, видите? Оттуда на север – миль двести глухой лес. Почти до самого Квебека, – он бодро потер ладони. – Ладно, пошли дальше!

Теперь Моника время от времени оглядывалась, должно быть, проверяла: не потерялся ли я опять.

Шагали бодро, я смирился с промокшим носком. Даже начал попадать в общий ритм.

– Ага! – Ланкастер остановился, поднял руку. – Так… Что у нас тут… Ну-ка, ну-ка, поглядим.

Он присел на корточки, поманил нас жестом. Мы обступили

его. На снегу валялся какой-то мусор, непонятная шелуха.

– Какие мысли, какие идеи, следопыты? – Он задорно оглядел нас. – Кто тут наследил?

– Белка? – неуверенно предположила Рита. – Или птица?

– Не просто птица! – воскликнул Ланкастер. – Это черноклювый королевский дятел, третий по величине в отряде дятлообразных. После тукана и большого мюллерова дятла. Размах крыльев – три фута!

Он развел руки.

– Дятел? – Моника сделала круглые глаза. – Во дела!

У толстого клена на снегу желтела светлая стружка – тугие завитки, как от крупной дрели. Я задрал голову, весь ствол был в дырах, напоминавших овальные дупла. Я зачем-то постучал по клену, звук получился полый.

– Да, дерево мертвое, – Ланкастер тоже стукнул в ствол кулаком. – Когда дерево начинает болеть, появляются муравьи, жуки-точильщики. Они поселяются под корой, выедают ствол изнутри. Вон, дупла идут почти до верхушки: значит, колонии муравьев оккупировали весь ствол.

– Именно муравьи? – спросил я. – Может, жуки?

Ланкастер легко нагнулся, поднял с земли стружки, разложил на ладони. Достал из кармана складную лупу.

– Муравьи, – сказал он. – Поглядите сами.

Среди древесного мусора чернели трупы муравьев, расчлененные, но вполне узнаваемые. Их головы были удивительно похожи на противогазные маски.

– Хитиновый покров не разрушается желудочным соком, то, что вы видите – это внешний, так сказать, скелет насекомого.

Ланкастер приблизил ладонь к Монике.

– Фу! Это ж… – она пыталась найти слово.

– Это помет. Фекалии. Черноклювый дятел находит пораженное дерево, начинает долбить. Потом в дупло просовывает язык – а язык у этой птицы длинней моей ладони, восемь-девять дюймов!

Рита достала телефон, сфотографировала фекалии.

Мне становилось невыносимо скучно. Небо затянуло бледной дымкой, серебристой, как рыбье брюхо.

Пошли дальше.

Через минут пять наткнулись на следы койота. Ланкастер, показывая на пальцах, объяснял, как устроена лапа койота и чем ее строение отличается от лапы зайца. Сложив пальцы в щепоть, он начал тыкать ими в снег. Получались очень убедительные отпечатки звериных лап.

– Это – русак. Два длинных, один короткий. А вот – волк. Тут

равные интервалы. След лисы выглядит так. Очень похож на рысь. Но есть одно отличие. Ну, кто знает?

– У лисы хвост! – крикнула Моника.

– Когти, – сказала Рита. – У кошек когти убираются.

6

Трудно объяснить, зачем я потащился на эту экскурсию.

За кем – это ясно. Вчера в лыжной раздевалке, когда я столкнулся с Ритой, мне почудилось, что оцепенение, в котором я пребывал три с лишним года, внезапно дало трещину.

Скорее всего, мне это показалось.

Рита сняла лыжи снаружи, в дверях зацепилась рукавом. Ее лыжная палка угодила острием мне в бровь. Крови не было, но Рита страшно перепугалась, мне же происходящее показалось забавным.

– Чуть ниже, и вам пришлось бы выходить за меня замуж, – строго сказал я. – Но поскольку глаз цел, ограничимся ужином. Идет?

Она опоздала – я допивал второй бурбон.

За ужином мы разговорились, верней, разговорился я. Зачем-то рассказал ей, что Набоков был настоящий барин – не закрывал своего зонтика, просто передавал его жене. А когда он писал письма, Вера лизала и приклеивала марки к конвертам. Рассказал, что Гоголь умолял как следует проверить перед похоронами, умер ли он на самом деле – больше всего он боялся быть похороненным заживо. Похоже, именно это с ним и случилось…

– А от меня муж ушел, – неожиданно сказала она. – Шестнадцатого июля. Собрал чемодан и ушел. Ни слова не сказал, просто взял и ушел.

На кухне что-то грохнуло, и кто-то громко выругался по-французски. Вздумай я вставить подобный сюжет в рассказ, критики бы меня заклевали. Но жизни плевать на критиков, свои истории она плетет без оглядки на логику и здравый смысл, не страшась дешевых штампов и наспех состряпанных совпадений.

Рита посмотрела в сторону, потом на меня, улыбнулась. Виноватым жестом заправила прядь за ухо.

Эта улыбка и этот жест застали меня врасплох.

Так улыбалась моя жена.

Именно в этот момент в сонном, полупустом ресторане, залитом темным медовым светом, на меня накатило жуткое и восторженное чувство, словно я участвовал в тайном магическом

ритуале, словно на моих глазах не просто подвергались сомнению законы физики, а рушился сам принцип устройства вселенной. Моей вселенной – тоскливой и пустынной, карту которой я нацарапал глухими ночами, где путь от залива отчаянья до мыса надежды измерялся тысячей кошмарных снов и казался непреодолимым…

Я сжал кулаки, скомкав под столом край скатерти.

Будто пытался удержаться на краю бездны.

Мне нужна была срочная помощь, и я кинулся к тому, кто меня никогда не подводил.

– Вот послушайте, – торопливо начал я. – «Зажигаются окна и ложатся, с крестом на спине, ничком на темный, толстый снег: ложится меж них и веерный просвет над парадной дверью. Не помню, почему мы все повысыпали из звонкой, с колоннами, залы в эту неподвижную темноту, населенную лишь елками, распухшими вдвое от снежного дородства: сторожа ли позвали поглядеть на многообещающее зарево далекого пожара, любовались ли мы на ледяного коня, изваянного около пруда…»

– Господи… Как красиво… – едва слышно проговорила Рита. – Что это? Кто это?

Ответить я не успел – через зал, звонко цокая шпильками в мрамор, к нам решительно приближалась женщина с отчаянно загорелым лицом. Ее одежда напоминала костюм матадора, как если бы матадор решил вырядиться чертом. Малиновая куртка с золотым шитьем и каким-то фальшивым мехом, высокие сапоги. Черная кожа тугих лосин лаково сияла на выпуклостях и изгибах нижней части тела: казалось, она вот-вот треснет и все прелести вывалятся наружу.

– Ага! Вот ты где! – голос у матадорши оказался резким. – Ты не представляешь, что мы делаем завтра!

Она восторженно выпучила глаза, с грохотом придвинула соседний стул. По-вороньи быстро оглядев стол, ухватила оливку из моего салата.

– Экскурсия «Следы на снегу»! Мы идем с настоящим следопытом, он нам будет рассказывать про следы, про зверей. Тут, говорят, даже медведи есть! Представляешь?

– Медведи зимой спят, – мне стоило усилий оставаться вежливым. – Спят в берлоге.

– Как это? – удивилась женщина-матадор. – Откуда у вас такая информация?

– Я из России. Медведи – наша узкая специализация.

Она с интересом оглядела меня. Я ласково ей улыбнулся.

– Моника! – она протянула мне ладонь.

Я пожал, назвал себя.

Мне было очевидно, что Моника принадлежала к столь распространенному в Америке классу избыточно эмансипированных, невежественно-агрессивных, самоуверенных и скверно воспитанных дур.

Рита извинилась, вышла из-за стола, я взглядом проводил ее спину. Моника кликнула официанта, заказала себе мартини. Приблизила ко мне оранжевое лицо.

– Я вас умоляю, – горячо зашептала она. – Рита – моя лучшая подруга, она прошла через такой ад… Этот подонок Алан, ее бывший муж…

– Она мне все рассказала, – перебил я Монику. – Успокойтесь.

Моника заглянула мне в глаза и, помедлив, ухмыльнулась, словно мы с ней уже делили какую-то гнусную тайну. Положила на мою руку свою ладонь, горячую и сухую, как галька на пляже.

У меня впервые в жизни появилось почти непреодолимое желание ударить женщину.

Ударить прямо в лицо.

7

Ланкастер махнул рукой, мы пошли.

Я снова оказался в хвосте за Моникой. Лес начал редеть, кряжистые сосны сменились елками, которые хороводились отдельными семейками – белые и остроконечные, они походили на заколдованные замки, занесенные снегом.

Потом пошли тощие бледные осины и сразу посветлело.

То ли я освоился со снегоступами, то ли наст здесь был покрепче, но я перестал проваливаться, и наша прогулка начала почти доставлять мне удовольствие. Я стянул лыжную шапку и сунул ее в карман. На ходу зачерпнул пригоршню снега, поднес к губам. От снега пахло ледяной свежестью – так пахнет березовый сок ранней весной.

Лес остался позади.

Мы вышли на покатый холм, его бок, зефирной белизны, плавно скатывался к замерзшей реке. Двинулись вдоль берега, кое-где топорщились островки высохших серых камышей. Лед был занесен снегом, река больше напоминала идеально ровное поле для какого-то циклопического спортивного состязания. На другом берегу чернел глухой сосновый бор.

Ланкастер, что-то заприметив, остановился и поманил нас. На снегу отпечатался странный узор, похожий на гигантскую хризантему.

– Ну что? – спросил он, оглядывая нас. – Есть идеи?

Я нагнулся: симметричный отпечаток был полметра в диаметре. Я провел пальцем по длинным заледеневшим бороздкам, напоминавшим острые серповидные лепестки. Узор походил на отпечаток античного орнамента.

– Это, наверное, снежная медуза, – серьезным тоном предположила Моника.

Если бы я не знал, что она полная дура, то предположил бы, что у нее прорезалось английское чувство юмора.

– Что? – удивился Ланкастер. – Кто?

– Ну, есть же снежный человек? – Моника почти не смутилась. – Его тоже мало кто видел. А у нас – медуза…

Ланкастер захохотал, с той стороны откликнулось эхо.

Мы с Ритой тоже засмеялись.

– Ну-ну! Над Дарвином тоже потешались! – Моника повернулась к нам воинственным профилем. – И над Колумбом! Когда он Америку открывал…

– Безусловно, остается незначительный шанс, что нам посчастливилось наткнуться на «медузас книдария унцис» – Ланкастер развел руки. – Или смириться с фактом, что перед нами отпечаток крыльев ворона черного из отряда воробьинообразных.

Я не подозревал о принадлежности ворон к отряду воробьинообразных, впрочем – и в частности, и в целом, – мне было плевать на всю эту зоологию. Я взглянул на Риту, она тут же отвела глаза. На ее лице еще теплилась улыбка, тусклая тень нашего общего смеха.

Я хотел ей что-то сказать, но она уже повернулась ко мне спиной.

– Посмотрите, – Ланкастер наклонился. – Вот тут, видите, едва заметные отпечатки лапок, видите? Вот коготь… На берегу влажность выше, поэтому наст крепче, и птичьи следы почти не разобрать. Тут ворон взлетал, а взлетают они на подскоке – делают несколько прыжков, отталкиваются и…

Ланкастер ладонью изобразил крутой взлет.

– Ворон – умнейшая птица! У Эзопа есть басня про ворона, который, чтобы напиться, бросает камни в кувшин с водой, уровень воды поднимается, и хитрая птица таким образом утоляет жажду. Можно сказать, ворон – предтеча Архимеда. – Ланкастер улыбнулся. – Кстати, ворон в воздухе имитирует полет хищной птицы. Для придания пущей важности, я думаю.

– Пижон! – Моника неодобрительно покачала головой и добавила многозначительно:

– Попадались мне такие… Из отряда воробьинообразных. А

что это за гул?

Мне тоже послышался глухой рокот, звук едва различимый и монотонный, похожий на бас гигантского мотора.

Казалось, он шел из-под земли…

– Метро, – я беспечно пожал плечом и указал на восток. – Вон там, за горкой, станция «Ведьмина Падь», следующая остановка – «Бруклинский мост».

– Нет, действительно? – спросила Рита. – Похоже на дальний гром.

– Это голос Ойате-Ду, – Ланкастер повернулся к застывшей реке. – Ведь не поверишь, что под этим мертвым льдом несется неукротимый поток. Исток реки – у озера Шамплейн, течет она строго на восток и впадает в Атлантический океан. Река змеится по границе и если плыть по Ойате-Ду, то попеременно будешь оказываться то в Канаде, то в Америке…

Он замолчал.

Повернувшись к замерзшей реке, мы стояли и слушали.

В этом утробном рокоте мне вдруг почудилась какая-то тайная угроза. Действительно, Рита была права: звук напоминал надвигающуюся бурю. Это был тот случай, когда приближающуюся опасность ощущаешь на уровне животного инстинкта. Небо посерело и навалилось на макушки сосен на северном берегу. Стало зябко, я достал из кармана шапку, натянул до ушей.

– Тут была земля могикан, на западе жили гуроны. – Ланкастер откашлялся в кулак. – Река представляла особую ценность: краснокожие ведь так и не изобрели колеса, поэтому передвигались пешком или на лодках.

– Могикане? – спросил я. – Это из Фенимора Купера?

– Да, «Зверобой», «Следопыт» и прочее. Не знаю, как там насчет литературы, но относительно биологии у меня к нему серьезные претензии. К Фенимору.

– С литературой там тоже неважно. Каждая вторая сцена открывается с того, что герой слышит, как «где-то рядом, в темноте, хрустнула ветка». И сразу после…

Я запнулся.

До нас донесся вой.

Моника и Рита настороженно посмотрели на Ланкастера.

Звук напоминал вой собаки.

– Койот, – успокоил девушек наш проводник. – Не волнуйтесь, барышни.

Ланкастер посмотрел вверх, потом на часы.

– Ну…

– А вот там что? – перебила его Моника. – Как будто жилище

чье-то, хижина какая-то.

Она указывала малиновой варежкой на небольшой затон – там изо льда торчала остроконечная крыша вроде деревенской хаты.

– Бобры! – оживился Ланкастер. – Это бобровая крепость. Канадский бобер – удивительный зверь! У него самая высокая плотность шерсти на квадратный дюйм: семьдесят тысяч щетинок, представляете? Когда он ныряет, его кожа остается сухой, влага не проникает сквозь шерсть.

– Смотрите, там настоящая плотина! – Моника, загребая снегоступами, кособоко побежала к затону.

– Пошли! – махнул рукой Ланкастер. – Там, должно быть, ручей. Бобры обычно устраивают запруды в таких местах.

Из снега в строгом порядке торчали остроконечные бревна внушительного диаметра. Картина напоминала какую-то фортификационную конструкцию – варварскую, но сработанную на совесть.

– И это все бобры? – Моника изумленно остановилась. – Зубами?

Она достала карманную камеру, блеснула вспышкой. Отошла, сделала еще снимок. Подошла вплотную, стала почти впритык фотографировать бревна, похожие на карандаши, заточенные старательным, но неумелым великаном.

– Зубами! Надо же! – восторгалась Моника. – Игорь, сфотографируйте нас с Ритой!

Она протянула мне камеру.

– Там большая кнопка. Рита, иди сюда! – Моника обняла ее за плечи, выставила белые зубы.

Я нажал на большую кнопку. Затвор щелкнул.

– Давайте еще, чтоб вот эти столбы замечательные попали в кадр. Их видно, Игорь? Столбы видно?

Я отошел назад, захватил в кадр столбы. Сфотографировал.

– Давайте теперь с бобровым домиком! Рита! Давай с бобровым домиком!

Моника, переступая снегоступами, боком спустилась на лед и обошла «бобровый домик» – сучья, собранные в конус двухметровой высоты.

– Рита, иди сюда!

Рита явно была не настроена фотографироваться. Она отмахнулась, делая вид, что поправляет ремешки креплений.

– Ланкастер! – не унималась Моника. – Идите тогда вы сюда. Бобровый домик видно? Игорь! Я вас спрашиваю.

Я мотнул головой, послушно навел камеру.

– Погодите! – Ланкастер ловко спустился на лед. – Моника,

погодите! Туда нельзя, там…

Он не договорил – раздался треск.

Гулкий, с мощным оттягом.

Звук был такой, словно сломалось что-то очень важное, чуть ли не земная ось.

Моника взвизгнула, снег под ней мгновенно потемнел, и она, будто цирковая кукла, вдруг сложилась гармошкой. Из грязно-лиловой полыньи торчала голова в остроконечном капюшоне и руки в ярко-малиновых варежках. Она, словно в агонии, суетливо и бессмысленно загребала руками снежную жижу и визжала.

Меня словно парализовало, я замер, продолжая пялиться в видоискатель камеры. От этого происходящее выглядело еще невероятней.

Ланкастер, не доходя трех шагов до полыньи, бросился на лед и, распластавшись как краб, быстро пополз по мокрому снегу к Монике. Она сорвала голос и теперь сипло выла на одной ноте. Ланкастер дотянулся, ухватил Монику за руку. Ладонь выскользнула, Ланкастер отбросил варежку. Подполз ближе, вцепился в рукав куртки.

Начал тянуть.

Казалось, что Монику там, под водой, кто-то держит за ноги и не пускает. Течение, догадался я, плюс снегоступы – они вообще как плавучий якорь…

Рита спрыгнула на лед и стала обходить полынью слева. Ланкастер, заметив ее, зарычал:

– Назад! На берег!

Рита испуганно застыла, потом медленно опустилась на корточки, прижав ладони к лицу.

Ланкастеру удалось вытянуть Монику до пояса, он что-то отрывисто говорил ей. Она, безумная, с раскрытым ртом и белыми глазами, помогала, отталкивалась свободной рукой ото льда. Рука беспомощно скользила по снежной жиже.

– Игорь! – услышал я крик Риты. – Сделайте что-нибудь!

– Господи, – пробормотал я. – Ну что? Что?

Я осторожно спустился на лед, вытянул из-под куртки шарф. Лег на живот и пополз к Ланкастеру.

Лед поскрипывал – мерзко, стеклянно, – мне казалось, что я ощущаю, как он прогибается под моей тяжестью.

Набросив шарф на снегоступ Ланкастера, я попытался завязать узел. Ланкастер обернулся, красный, с вздувшейся жилой поперек лба. Словно серый червь заполз под кожу.

Мне стало жутко – я слышал, как хрипит Моника, как в полынье утробно шумит река…

Это была быстрая река.

Я затянул узел. Другой конец шарфа намотал на кулак, сжал и стал ползком пятиться к берегу. Шарф натянулся. Уперев локти, я пытался тащить, но вместо этого сам скользил обратно к полынье. Тогда я лег на бок, нашел коленом опору. Мыча и матерясь, принялся наматывать шарф на кулак. Мне показалось, что я их начал вытягивать.

Не знаю, что произошло дальше.

Я услышал хруст, певучий и звонкий, словно кто-то сломал витринное стекло. Не разбил, а именно сломал.

В метре от меня зигзагом пробежала черная трещина. Из нее брызнула вода.

Льдина с Ланкастером встала на попа – за это мгновение я разглядел в толще застывшей воды голубые кристаллы, белые пузыри воздуха и крошечного малька.

Потом льдина перевернулась.

8

Стало тихо.

В полынье журчала река. Я не мог оторвать взгляда от быстрой маслянистой воды. Рядом, на мокром снегу, лежала малиновая варежка.

Я продолжал наматывать на кулак свой шарф.

Пошел снег. Мелкий, почти невидимый, он постепенно становился гуще, пушистей.

Северный берег побледнел, словно его затянули папиросной бумагой. Как в тех старых альбомах, где цветные репродукции непременно прокладывали полупрозрачной шуршащей бумагой, сквозь которую едва проступало изображение. В библиотеке моего деда было много таких книг. Они пахли теплым коленкором, пылью, типографским клеем. Когда отец привозил меня в Питер, я так любил обосноваться на ковре, разложить эти фолианты – энциклопедии и альбомы – и неспешно листать их. Медленно, медленно, словно во сне, переворачивать страницы, разглядывать старые гравюры и офсетные оттиски. Именно в этой медлительности, я думаю, заключалась магия процесса.

Не знаю, сколько прошло времени.

Снег медленно падал, я снял перчатку и подставил ладонь. Снежинки опускались, таяли и исчезали. Точно так же они исчезали в черной воде полыньи. Касались поверхности и исчезали. Мокрый снег вокруг постепенно покрылся белым, белым занесло трещины. И лишь полынья, как заколдованная, оставалась черной.

Рита сидела на корточках, прижав ладони к лицу, словно пыталась заглушить крик. Она тоже смотрела на темную воду. Ее шапку и плечи засыпало снегом.

– Почему прорубь не заносит? – тихо спросила она.

– Течение, – я стряхнул снег с ее куртки. – Надо идти.

Она подняла на меня глаза.

– А как же… – она показала взглядом. – Как же?..

Я опустился на колени, обнял ее за плечи. Она всхлипнула, уткнулась мне в шею. Я сидел спиной к реке, не видеть эту проклятую полынью уже было облегчением. Моя рука механически гладила Ритину куртку.

– Как я скажу ее матери? – я ощутил на шее горячее дыхание Риты. – Господи…

Я прижал ее к себе еще плотнее, будто это могло что-то изменить.

– Отец умер в прошлом году, – Рита шмыгнула носом. – Мать совсем расклеилась. И она взяла ее к себе. К себе жить взяла. Мать нестарая… Сколько ей? Просто расклеилась… Совсем. Господи…

Рита заскулила, совсем по-детски. Мне этот детский плач показался смешным – и я подумал, что схожу с ума.

– А я в детстве тоже почти утонула. Почти… – проговорила Рита мне в шею. – Там озеро было… Мы с сестрой на баллонах плавали. Такие резиновые, черные, от машин. А потом…

Она замолчала, мне казалось: я слышу шорох, с которым снег ложится на землю.

– Это не страшно… и не больно, – продолжила она. – Сначала страшно, когда еще хочешь жить. Тут очень важно вовремя понять. Понять и решить. Я так все отчетливо помню… Опускаешься, будто паришь. Плавно, плавно, плавно. А сама невесомая, словно тебя уже и нет. И звуки тают, едва доносятся. Кто-то кричит, собака лает… Сквозь воду небо видно, облака, солнечные зайчики по волнам. А тебя уже нет. Вообще…

Она прерывисто вдохнула и сказала тем же тоном:

– У меня ноги окоченели.

9

Я никогда раньше этого не делал. Наверное, сработала генетическая память. Я быстро расшнуровал ее ботинки, стянул вместе со снегоступами. Снял носки, сунул их себе за пазуху. Зачерпнул снег, растер пятки. Потом начал тереть шарфом. Рита молча наблюдала, словно это происходило не с ней, а с кем-то

посторонним.

– Лучше? – спросил я, завязывая шнурки.

Она кивнула.

– Надо идти, – я встал, натянул перчатки.

Она поднялась, огляделась.

– А куда?

Я тоже огляделся.

Начало смеркаться, берег, река, заснеженный лес – все вокруг из белого стало лиловым. Я украдкой взглянул на часы.

– Надо найти наши следы, – уверенно сказал я, подумав, что через час тут будет непроглядная тьма. – И по следам выйти на шоссе.

– Стемнеет. Мы не успеем.

– А если не успеем, то переночуем в лесу. И выберемся утром.

– В лесу? Переночуем?

– Да.

– Ноль градусов. По Фаренгейту. Ты представляешь себе эту температуру?

– Да! – упрямо повторил я.

– И как же ты собираешься ночевать?

– В снегу!

– Ах, в снегу! Отлично! В снегу…

– Да. Мы наломаем ельника, сделаем подстилку и шалаш. Сверху завалим снегом – для тепла.

Рита подозрительно поглядела мне в глаза.

– Ты правда знаешь – как?..

– Конечно, – уверенно соврал я. – Сколько раз ходили в лыжные походы. С ночевкой. Плевое дело. И у нас под Москвой морозы покрепче ваших будут. Там такие минусы стоят! И не по Фаренгейту вашему. Пошли?

Рита доверчиво кивнула.

10

Следов мы не нашли, их засыпало снегом.

Я продолжал быстро шагать вдоль берега, изредка оборачиваясь. Рита едва поспевала. Все вокруг казалось совершенно одинаковым, я пытался вспомнить: в каком месте мы вышли из леса к реке. Оставалась надежда, что под деревьями можно будет найти нашу тропу.

– Игорь!

Я остановился, оглянулся.

– Мне кажется… – запыхавшись, крикнула Рита. – Мы прошли то место… Ты точно помнишь?

Я уверенно кивнул. Я был уверен, что мы заблудились.

– Все правильно! Пошли, пошли!

Свежий снег был легким, будто сахарная пудра. Мне казалось, что я чувствую, как падает температура, на ворсинках шарфа белел иней от моего дыхания.

Я даже не заметил, когда кончился снегопад.

Небо над рекой потемнело, в ровном сером цвете проявился розоватый оттенок. Где-то там, за облаками, солнце закатывалось за горизонт…

Я знал, что нужно свернуть в лес. Что нужно идти от реки, идти на юг. Что шоссе там, на юге. Но я боялся, что в лесу мы начнем ходить кругами и окончательно заблудимся.

Я боялся, что в лесу нас застигнет ночь.

А ночи мы не переживем.

Когда мне было двенадцать, я провалился под лед. Мой старший брат кормил диких уток – они почему-то остались зимовать в нашем пруду, – и Димка просто помешался на этих утках, на их спасении.

Это стало нашей миссией. Каждый день мы ходили к полынье и бросали им хлеб. Селезень был красавец с малахитовой переливчатой грудью, утка – пего-серая, так себе. Они нас узнавали, хлопали крыльями и забавно крякали. Иногда им удавалось поймать хлеб прямо с лету. Кстати, у утки это получалось получше, если честно, селезень был слегка туповат. Он подпрыгивал невпопад, гневливо бил крыльями по воде и громко ругался.

Полынья не замерзала, потому что там били ключи. Тем утром я бросал куски хлеба, подходя все ближе и ближе к краю. Лед проломился – и я ушел с головой под воду.

Ушел моментально, как кирпич. Не было ни треска льда, ни процесса падения.

Могу уверенно сказать, что это было самое страшное испытание в моей жизни.

И дело тут не в возрасте, а в готовности – принц Гамлет был прав на этот счет. Ужас состоял в моментальности – у меня не было той грации умирания, о которой рассказывала Рита, мой опыт больше напоминал удар молнии. Только без вспышки. Все мое существо превратилось в комок панического ужаса, ледяной холод и темнота парализовали меня, мысли и чувства отключились, остался лишь страх.

Смертельный страх.

– Игорь! – позвала Рита. – Погоди! У тебя телефон с собой?

Я остановился, обернулся – она тянула вверх руку с телефоном. Я начал рыться по карманам и обнаружил фотоаппарат Моники. Незаметно сунул его обратно. Нашел телефон.

– Ну что? – с надеждой спросила Рита.

Я помотал головой: сигнала не было.

– Мы заблудились? – Рита подошла и заглянула мне в глаза.

– Нет. Дорога там, – я указал в лес. – Я уверен.

– Ну, тогда пошли. Когда стемнеет, мы заночуем, а утром пойдем дальше.

– Пошли! – я быстро зашагал к лесу.

Я не мог выдержать ее взгляда, я не мог ей врать.

Но не знал, как сказать правду.

11

В лесу оказалось светлее, чем я ожидал. Я напоследок оглянулся: небо над рекой стало лиловым, облака куда-то утянуло. На другом берегу, над сиреневой кромкой соснового бора, зажглась бледная звезда.

Температура продолжала падать.

Я размеренно переставлял снегоступы, снег хрустел, за спиной мне в такт шагала Рита. Кончились елки, мы вошли в смешанный лес. Густой подлесок мешал идти, нам приходилось огибать сугробы, завалы, перелезать через упавшие деревья.

Двигаться строго на юг, повторял я, главное – двигаться строго на юг.

Не начать кружить!

Двигаться строго на юг!

Надо сориентироваться по звездам и двигаться строго на юг…

Я поднял голову – среди веток проглядывали тусклые точки ранних звезд. Я понятия не имел, что с ними делать, куда они движутся, в какую сторону вращается земля. Попытался вспомнить какие-то приметы – ничего, кроме мха на северной стороне деревьев, в голову не пришло. Я оглядел ближайшие стволы: там вообще никакого мха не росло.

Стало совсем темно. Пару раз я натыкался на сучья и теперь шагал, выставив перед лицом растопыренную ладонь. Поймав ветку, я ломал ее, отбрасывал в сторону. Снег казался серым как жесть, с тусклым отливом. Серый цвет становился все гуще и гуще.

– Эй! – позвала Рита.

Я остановился.

– Становится темно, – она говорила запыхавшись. – Может, нам сейчас устроить ночлег? Построить твой вигвам, пока хоть что-то видно?

– Ты устала? – спросил я.

Я постарался, чтобы это прозвучало бодро.

– Нет, – неуверенно ответила она. – Нет. Я просто думаю…

– Давай еще немного. Мы уже километра три отмахали…

– Три километра? Это сколько?

– Ну, где-то мили две. Чуть больше. В одной миле…

Совсем рядом раздался вой.

Даже в полумраке я увидел, как Рита вздрогнула.

– Это койот, – быстро сказал я. – Ничего страшного. Просто койот. Маленькая собака. Как пудель.

Я не видел ее лица – просто пятно. Думаю, она тоже не видела испуга на моем лице.

– Все, – твердо сказала Рита. – Я дальше не пойду. Давай строить вигвам.

– Рита… – начал я, но тут вой повторился. Теперь чуть левее.

Мне показалось, что зверь обходит нас.

– Все! – она рубанула рукой перед моим лицом. – Все! Говори, что делать! Копать снег, ломать ветки: говори!

– Рита…

– Не стой истуканом! – Она толкнула меня. – Надо что-то делать!

– Надо идти, – тихо сказал я. – Мы не можем ночевать тут. Мы замерзнем.

Она застыла.

– Но ты же… – начала она растерянно. – Ты же сам говорил. Что вигвам, ельник и ветки… И снег. И снег сверху, да? Для тепла. Ведь говорил же…

– Надо идти.

– Так ты врал? Врал? – Она ударила кулаками мне в грудь. – Ты врал! Дрянь! Сволочь! Как ты смел мне врать?

– Я хотел…

– Ах, ты хотел! – Она повернулась, обращаясь к лесу. – Он хотел! Он, видите ли, хотел! Врун!

– Тебе было бы легче, если б я сказал, что мы сдохнем? – неожиданно для себя самого заорал я. – Легче? Я не знаю, как строить этот чертов вигвам.

– А я тебе поверила, – сказала она с жаром. – Знаешь, поверила. Ты ведь сам говорил: я русский, у нас там зима, мороз. Все я знаю, вигвам в снегу – раз плюнуть! Что ж ты за русский такой?

Она быстро вытерла лицо рукой и, задыхаясь, продолжила:

– Вот у меня в школе был русский – Боб Марголис, вот это был русский! Он из-за меня этого Грэма там отдубасил – ой-ой-ой, мама не балуй! А Грэм нападающим был, шесть футов и кулаки – во! Во!

– Надо идти, – мрачно повторил я. – Рита, надо идти. А то мы сдохнем и нас сожрут койоты.

Она молчала.

Я взял ее за руки, она приблизилась, от нее пахло чем-то сладким вроде карамели.

– От тебя пахнет конфетами, – прошептал я. – Карамельными.

– Это помада, от холода, – также тихо ответила она. – Чтоб губы не обветрились.

12

Мы двигались на ощупь. Рита держалась за мой шарф, я намотал другой конец себе на запястье. Иногда я спотыкался – когда она наступала на концы моих снегоступов.

Ей пришла идея использовать телефон как фонарик. Ее батарея сдохла быстро, мой телефон протянул минут двадцать.

Койот (или кто это там был) двигался рядом, время от времени из тьмы раздавался вой. Я слышал, как Рита испуганно вскрикивала каждый раз. Перед тем как погас мой телефон, я посмотрел на часы и тихо застонал.

Было без четверти семь!

Ночь еще даже и не наступила.

Когда мы перелезали через поваленное дерево, я зацепился за сук и порвал штанину. Я не обратил внимания, но через полчаса мое колено задубело от холода. Заколкой для волос Рита кое-как залатала дыру.

– Как ты думаешь, – спросила она. – Это больно?

Я сделал вид, что не понял, хотя прекрасно знал, что она имеет в виду.

– Если это как тогда, когда я утонула… – Она подумала. – То ничего. Не страшно.

Она прижалась ко мне, я почувствовал, что она мелко дрожит всем телом. Я обхватил ее, вжал в свою грудь.

– Меня койоты смущают, – глухо донесся ее голос откуда-то из-под моего подбородка. – Вот это, конечно, неприятный момент. Койоты.

Мерзавец, словно догадавшись, что о нем говорят, тут же подал голос.

– А тебя когда-нибудь собаки кусали? – спросила Рита.

– Нет, – соврал я.

Рассказывать, что мне наложили восемь швов и что у меня до сих пор внушительный шрам на бедре, мне совсем не хотелось.

– Меня тоже… – Ее голос становился тише, протяжней, словно она засыпала.

Мне вдруг стало жутко.

Страшно, как тогда, в проруби. В той черной ледяной бездне.

– Рита! Рита! – Я начал трясти ее. – Погоди… Ты что? Я тебе не дам… Слышишь, не дам! Не смей и думать! Рита, ты что?!

Я потащил ее за собой.

– Пошли! Пошли! До шоссе всего полчаса, минут сорок! А ты, понимаешь…

– Игорь, – тихо позвала она. – У меня часы… Светящиеся. Восемь часов сейчас. Восемь, понимаешь?

– Ну и что! Я тебе говорю: шоссе совсем рядом! – закричал я. – Тут, совсем рядом!

Я потянул ее за рукав. Она, словно кукла, послушно побрела за мной.

Медленно, валко…

Оступившись, мы упали. Мне показалось, что она смеется. Я вдруг представил, что она уже умерла, замерзла. Что я остался один. Один в этой чертовой темноте.

– Господи! – закричал я. – Нет, нет, нет! Рита, пожалуйста, я тебя умоляю… Совсем рядом, ведь совсем рядом…

– Во-семь ча-сов… – едва слышно по слогам пропела она.

В этот момент впереди послышался хруст, словно кто-то ломал хворост.

Мы застыли.

Звонко треснула палка, заскрипел снег, я явственно услышал сиплое дыханье. Кто-то большой и грузный устало выдохнул.

– Что это? – рассеянно прошептала Рита. – Кто?

– Тихо-тихо… – Я встал на колени, подхватив ее, притянул к себе.

Из темноты снова раздалось дыхание. Кто-то большой стоял в темноте всего десяти шагах от нас. Стоял и дышал.

– Медведь, – безразлично произнесла Рита. – Это медведь.

– Тихо! – зашептал я. – Не медведь. Медведи спят.

Снова затрещали сучья, словно через лес потащили диван.

Я был уверен, что звук стал ближе.

– Он идет к нам, – сказала Рита.

Я нащупал дерево, ухватился за ствол, поднялся.

А что, если она права? Медведь-шатун?

Проснулся и бродит по лесу. Из темноты раздалось

бормотанье, слюнявое, которое вдруг перешло в рык. Что-то среднее между ревом моржа и коровьим мычаньем.

Рита вцепилась мне в ногу.

– Сделай что-нибудь… – попросила она тихо. – Мне страшно.

Мне показалось, что я уже слышал от нее эти слова, что все это уже было, что я снова окажусь ничтожеством, никчемным типом, трепачом и тряпкой.

Полным нулем.

И на этот раз приговор будет окончательным.

Я вдруг понял, с ясностью озарения, что терять-то мне больше нечего. Что это и есть мой последний шанс, моя последняя возможность доказать ей, Рите, доказать своей жене, которая, я уверен, усмехаясь, наблюдает сверху, доказать себе и всему миру, что я на что-то годен.

На что-то, кроме трепотни.

Я сжал кулаки, сделал шаг в темноту, вдохнул как следует и закричал.

Я орал, рычал, ругался!

Я колотил морозный воздух, бил непроглядную темень кулаками, месил ночь руками, как ветряная мельница.

Зверь не испугался, он принял мой вызов.

Его рык был страшен!

Он затрубил низким протяжным басом. Снова с отчаянным треском стали ломаться сучья. Я пригнулся, втянул голову в плечи. Безнадежно пялясь в темень, представил себе клыки, когти, рога – что еще?

И вдруг я нащупал в кармане фотоаппарат.

Камера оказалась на автомате. Я нажал на кнопку, затвор щелкнул – и вспышка выхватила на мгновенье кусок леса, ярко-белые столбы кленовых стволов, черные тени от них.

И гигантское рогатое чудище с сатанински красными глазами!

Чудище стояло в пяти шагах от меня.

Рита завизжала, высоко и пронзительно, как паровозный свисток.

Я не смог ничего толком рассмотреть, снова обрушилась темень. Я заорал и нажал на спуск.

Белый свет, словно молния, на миг осветил лес.

Зверь попятился – я видел, что он отступил. Набычив страшную голову, выпучив сверкающие глаза, он отступил. Я заорал и пошел на него. Я кричал и нажимал на кнопку, вспышка выхватывала застывшие картины – черно-белые, зернистые, будто кадры какой-то адской хроники. Рита тоже начала кричать. Она махала руками и чуть не выбила фотоаппарат у меня из рук.

Задрав рогатую голову, зверь попятился, повернулся боком – и мне удалось наконец рассмотреть его.

Это был лось.

Он оступился и чуть не упал. Проваливаясь в глубокий снег, он с треском мял мелкие деревья, крушил ветки и сучья, ломал кусты. Потом затрубил и ломанулся от нас через лес.

– Это лось! – Рита плакала, прижимаясь ко мне. – Чертов лось!

Кажется, я тоже плакал. Хохотал и плакал. Целовал ее мокрые, холодные щеки, горькие губы. Это была самая настоящая истерика.

– Лось, сукин сын! – шептала Рита. – Вот ведь сукин сын…

Я обнимал ее, вокруг чернела ночь, перед глазами, как кино, плыли кадры, выхваченные вспышкой: вертикали деревьев, белых, будто из алюминия, бесовская тень огромных рогов на них, чернильные полосы теней, уходящих в перспективу.

– Погоди… – я отпустил Риту. – Погоди…

Я выпрямился, поднял фотоаппарат над головой, нажал на кнопку. Вспышка осветила лес, вдали, на самой границе света и мрака, что-то блеснуло.

– Смотри… – тихо сказал я и снова нажал на спуск.

– Что это? – так же тихо спросила Рита. – Я ничего не вижу.

– Знак. Дорожный знак.

13

Мы выбрались на шоссе.

На желтом ромбе дорожного знака был нарисован черный силуэт лося.

Над нами сияла полная луна, от ее сизого света сугробы и дорога казались синими. В ста метрах от знака на обочине стоял наш джип. На крыше и капоте лежал снег, снега выпало дюйма три. Я помог Рите снять снегоступы, кое-как стащил свои. Мы залезли в кабину. Я открыл бардачок, среди сальных тряпок и мятых инструкций нашел ключ.

Движок запустился с полоборота.

Мы сидели молча. Ехать у меня не было сил.

Не было сил говорить, думать…

Печка надсадно гудела, дула горячим воздухом нам в лицо – я врубил ее на максимум.

Я достал камеру, включил. На экране появился последний кадр – лес и крошечный желтый ромб дорожного знака.

Рита положила голову мне на плечо. На следующем кадре

лось удирал в сторону дороги, Рита тихо засмеялась. Я повернул голову и поцеловал ее в мокрые волосы.

– Только не ври мне больше, ладно? – прошептала Рита. – Никогда.

У меня в горле застрял комок, я что-то промычал, кивнул головой и выключил камеру.

Не хватало мне только сейчас разреветься.